

12+

ГАНС АНДЕРСЕН

Сказка
Моей Жизни



Ганс Христиан Андерсен

Сказка моей жизни

«Издательские решения»

Андерсен Г.

Сказка моей жизни / Г. Андерсен — «Издательские решения»,

Новый, адаптированный перевод Алексея Козлова автобиографии Ганса Христиана Андерсена «Сказка моей Жизни», написаной им для немецкого издания сборника своих произведений. Автобиография неоднократно дописывалась автором и была закончена в 1855 г. Андерсен с трогательным волнением вспоминает свой путь от бедности и безвестности к достатку и славе, вспоминая людей, которые оказали на его судьбу глубокое духовное влияние.

© Андерсен Г.

© Издательские решения

Содержание

ГЛАВА I	6
Глава II	17
ГЛАВА III	26
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Сказка моей жизни

Ганс Андерсен

Дизайнер обложки Алексей Борисович Козлов

Переводчик Алексей Борисович Козлов

© Ганс Андерсен, 2026

© Алексей Борисович Козлов, дизайн обложки, 2026

© Алексей Борисович Козлов, перевод, 2026

ISBN 978-5-0069-8765-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ГЛАВА I

Моя жизнь — прекрасная сказка, счастливая и полная событий. Если бы, когда я был мальчиком и вышел в мир бедным и одиноким, добрая фея встретила меня и сказала: «Выбери теперь себе свой жизненный путь и цель, к которой ты будешь стремиться, а потом, в соответствии с развитием твоего ума и как того требует разум, Я буду направлять и защищать тебя к твоим достижениям», — даже тогда моя судьба не могла бы сложиться более счастливо, более благополучно или лучше.

История моей жизни говорит миру то же, что и мне: есть любящий Бог, который направляет всё всегда к лучшему. Моя родина, Дания, — поэтическая страна, полная народных преданий, старинных песен и богатой событиями истории, которая тесно связана со Швецией и Норвегией. Датские острова изобилуют прекрасными буковыми лесами, кукурузными и клевыми полями: они напоминают бескрайние, прекрасные сады Эдема.

На одном из таких зелёных островов, Фюн, стоит Оденс, место моего рождения. Оденс назван в честь языческого бога Одина, который, как гласит предание, жил здесь: это место является столицей провинции и находится в двадцати двух датских милях от Копенгагена.

В 1805 году здесь, в маленькой убогой комнатёнке, жила молодая супружеская пара, которая была чрезвычайно привязана друг к другу; он был сапожник, которому едва исполнилось двадцать два года, человек богато одаренный и по-настоящему поэтический. Она, его жена, была на несколько лет старше его, ничего не знала о жизни и окружающем мире, но обладала сердцем, исполненным любви. Молодой человек сам смастерил сапожный верстак и кровать, с которой начал вести домашнее хозяйство; эту кровать он смастерил из деревянного каркаса, на который незадолго до этого был установлен гроб покойного графа Трампе, когда тот лежал в гробу, и остатки чёрной ткани на деревянной обивке всё ещё напоминали об этом.

Вместо благородного трупа, окруженного крепом и восковыми гирляндами, второго апреля 1805 года здесь лежал живой и плачущий ребёнок — это был я, Ганс Христиан Андерсен. Говорят, что в первый день моего появления на свет мой отец сидел у кровати и читал вслух по-хольбергски, но я все время плакал.

«Ты будешь спать или будешь слушать тихо?» говорят, что мой отец спросил это в шутку, но я всё равно плакал. и даже в церкви, когда меня понесли креститься, я так громко плакал, что проповедник, который был очень темпераментным человеком, сказал:

«Малыш пищит, как кошка!» — и эти слова моя мать запомнила навсегда. Бедный эмигрант Гомар, который был её крёстным отцом, тем временем утешал её, говоря, что чем громче я плакал в детстве, тем прекраснее я должен был петь, когда подрасту. Наша маленькая комната, почти целиком заполненная сапожным верстаком, кроватью и моей колыбелькой, была местом моего детства; стены, однако, были увешаны картинами, а над верстаком висел шкаф с книгами и песнями; маленькая кухня была заставлена блестящими тарелками и металлическими сковородками, а с помощью лестницы можно было выбраться на крышу, где в водосточном желобе между домом и соседним домом стоял большой ящик, наполненный землёй, — единственный огород моей матери, где она выращивала свои овощи. В моей истории о Снежной Королеве этот сад всё ещё буино цветёт!

Я оказался единственным ребёнком в семье и был чрезвычайно избалован, но постоянно слышал от своей матери, что я гораздо счастливее, чем она, и что меня воспитывали как дворянского ребёнка.

В детстве родители выгнали её просить милостыню, и однажды, когда она не смогла этого сделать, она целый день просидела под мостом и плакала. Я изобразил её характер в двух разных ипостасях: в «Старой Доминике», в «Импровизаторе», и в «Матери Кристиана», и в «Всего лишь скрипаче».

Мой отец исполнял все мои желания. Я владел всем его сердцем; он жил ради меня. По воскресеньям он мастерил для меня цветные маски, театральные декорации и картины, которые можно было менять; он читал мне отрывки из пьес Хольберга и арабские сказки; только в такие моменты, как эти, помню, я видел его по-настоящему весёлым, потому что он никогда в жизни не чувствовал себя счастливым, будучи бедным ремесленником и сознавая свою проклятую бедность. Его родители были сельскими жителями, жившими в достатке, но на их долю выпало много несчастий: скот погиб, фермерский дом сгорел дотла; и, наконец, его отец потерял рассудок. После этого жена уехала с ним в Оденс и отдала там своего сына, обладавшего незаурядным умом, в ученики к сапожнику; иначе и быть не могло, хотя он страстно желал иметь возможность посещать гимназию, где мог бы выучить латынь.

Несколько состоятельных граждан в своё время говорили об этом, о том, чтобы собрать сумму, достаточную для оплаты его питания и образования, и таким образом дать ему путёвку в жизнь, но тогда дальше слов дело не пошло. Мой бедный отец увидел, что его заветное желание не сбылось, и никогда не забывал об этом. Я помню, что однажды, ещё ребёнком, я увидел слезы в его глазах, когда юноша из начальной школы пришёл к нам домой, чтобы снять мерку для новой пары ботинок, и показал нам свои книги, и рассказал, чему он научился. «Это был тот путь, по которому должен был пойти я!» — сказал мой отец, страстно поцеловал меня и потом молчал весь вечер.

Он очень редко общался с равными себе. По воскресеньям отец отправлялся в лес и брал меня с собой; когда его не было дома, он почти не разговаривал, а сидел молча, погружённый в глубокую задумчивость, пока я бегал вокруг и нанизывала землянику на соломинку или вязал гирлянды из цветов. Только дважды в году, и то в мае месяце, когда леса только-только начинали зеленеть, моя мать ходила с нами, и тогда на ней было хлопчатобумажное платье, которое она надевала только в таких случаях и когда принимала участие в Вечере Господней. Сколько я себя помню, это было её праздничное, парадное платье. Она всегда приносила домой из леса множество свежих буковых веток, которые затем сажала за полированным камнем. Позже в том же году в щели между балками всегда были воткнуты веточки зверобоя, и мы рассматривали их рост как предзнаменование того, будет ли наша жизнь долгой или короткой. Зелёные ветки и картины украшали нашу маленькую комнату, которую моя мама всегда содержала в чистоте; она очень гордилась тем, что постельное бельё и занавески всегда были белоснежными.

Моя бабушка ежедневно приходила к нам домой, хотя бы на минутку, чтобы повидать своего маленького внука. Я был её радостью, счастьем, и она восхищалась мной. Это была тихая и в высшей степени любезная пожилая женщина с кроткими голубыми глазами и прекрасной фигурой, и жизнь её была полна суровыми испытаниями.

Прежде она была женой сельского жителя, жила в достатке, а теперь впала в глубокую бедность и жила со своим слабоумным мужем в маленьком домике, который был последним, жалким остатком их имущества. Я ни разу не видел, чтобы она проронила хоть одну слезинку.

Но ещё большее впечатление произвело на меня то, что она, тихо вздохнув, рассказала мне о матери своей матери, о том, что она была богатой, знатной дамой в городе Касселе и что она вышла замуж за «комедианта», как она выразилась, и сбежала от родителей и дома, за что всем её потомкам теперь предстояло понести суровое наказание.

Я никогда не мог припомнить, чтобы она упоминала фамилию своей бабушки, но её собственная девичья фамилия была Номмесен. Её наняли ухаживать за садом, принадлежащим сумасшедшему дому, и каждое воскресенье вечером она приносила нам цветы, которые ей разрешили забрать домой. Эти цветы украшали мамин буфет, но всё же они были моими, и мне разрешалось ставить их в стакан с водой.

Как велико было это удовольствие! Она приносила их все мне, она любила меня всей душой. Я знал это, и я понимал это. Дважды в год она сжигала зелёный мусор в саду; в таких случаях она брала меня с собой в психлечебницу, и я лежал на огромных кучах зелёных листьев

и гороховой соломы. У меня было много цветов, с которыми я мог играть, и — что было обстоятельством, которому я придавал большое значение, — здесь меня кормили лучше, чем я мог ожидать быть накормленным дома.

Нравы здесь отличались простотой.

Всем тихим пациентам разрешалось свободно разгуливать по двору; они часто приходили к нам в сад, и я с любопытством и ужасом слушал их и ходил за ними по пятам; более того, я даже отваживался заходить вместе с санитарями к тем, кто впадал в буйство. Длинный коридор вёл к их камерам. Однажды, когда надзиратели отошли в сторону, я лег на пол и заглянул в щёлку под дверь в одну из этих камер. Я увидел внутри почти обнажённую женщину, лежавшую на соломенной постели; её волосы ниспадали на плечи, и она пела очень красивым голосом. Внезапно она вскочила и бросилась к двери, за которой я лежал; маленький клапан, через который она получала пищу, распахнулся; она посмотрела на меня сверху вниз и протянула ко мне свою длинную руку. Я закричал от ужаса — я почувствовал, как кончики её пальцев коснулись моей одежды — я был полумёртв, когда пришла служанка; и даже спустя годы это зрелище и это чувство остались в моей душе. Неподалеку от того места, где сжигали листья, у бедных старушек была прялка. Я часто заходил туда и очень скоро стал их любимцем.

Общаясь с этими людьми, я обнаружил, что обладаю красноречием, которое приводило их в изумление. Я случайно от кого-то услышал о внутреннем устройстве человеческого организма, и конечно, ничего в этом не понимая, но до дрожи увлечённые своими новоявленными занятиями, я нарисовал мелом на двери несколько завитушек, которые должны были изображать кишечник; они округлили глаза, и моё дальнейшее красочное описание сердца и лёгких произвело на них неизгладимое впечатление — они были потрясены до глубины души.

Я прослыл на редкость мудрым ребёнком, который, естественно, на свете не жилец и долго не протянет; и они вознаграждали моё красноречие, рассказав мне в ответ сказки; и таким образом мне открылся мир, столь же богатый, как Вселенная «Тысячи и одной ночи».

Истории, рассказанные этими старушками, и безумные фигуры, которых я видел вокруг себя в лечебнице, тем временем так сильно подействовали на меня, что, когда становилось темно, я едва осмеливался высунуть нос из дому. Поэтому мне разрешалось, как правило, на закате, укладываться в родительскую кровать с длинными занавесками в цветочек, потому что раскладушку, на которой я спал, неудобно было убирать так рано вечером из-за того, что она занимала много места в нашем маленьком жилище; а здесь, в в отцовской постели я лежал во сне наяву, как будто реальный мир меня не касался.

Я очень боялся своего слабоумного дедушку. Только однажды он заговорил со мной, да и то употребил официальное местоимение «Вы». Он занимался вырезанием из дерева странных фигурок — людей с головами зверей и зверей с крыльями; все это он складывал в корзину и увозил за город, где крестьянки повсюду хорошо принимали его, потому что он дарил им и их детям эти странные поделки.

Однажды, когда он возвращался в Оденсе, я услышал, как мальчишки на улице кричали ему вслед; я в ужасе спрятался за лестничным пролетом, потому что знал, что я его плоть и кровь.

Всё, что меня окружало, будоражило мое воображение. Сам Оденс в те времена, когда не существовало ни одного парохода и когда сообщение с другими городами было гораздо более редким, чем сейчас, был совершенно другим городом, чем в наши дни; человек мог бы вообразить, что живёт сотни лет назад, потому что здесь царило так много обычаев более ранних эпох.

Процессии Гильдий шествовали по городу, а впереди них всегда шёл арлекин с булавами и колокольчиками; на масленицу мясники вели по улицам самого жирного быка, украшенного гирляндами, а мальчик в белой рубашке и с огромными крыльями за плечами ехал верхом на нём; моряки разгуливали по городу с музыкой и развевающимися флагами, а затем двое самых

смелых из них встали и боролись на коне. Иной раз доску клали между двумя лодками, и тот, кого не сбрасывали в воду, становился победителем. Что, однако, особенно запечатлелось в моей памяти и освежилось после частых повторений, так это пребывание испанцев в Фюне в 1808 году. Правда, в то время мне было всего три года, но я, тем не менее, прекрасно помню смуглых иностранцев, которые устраивали беспорядки на улицах, и пушку, которая всё время палила. Я видел людей, лежащих на соломе в полуразрушенной церкви, которая находилась рядом с лечебницей. Однажды испанский солдат обнял меня и прижал к моим губам серебряную статуэтку, которую он носил на груди. Я помню, что моя мать рассердилась на это, потому что, по её словам, в этом было что-то папистское; но изображение и странный мужчина, который танцевал вокруг меня, целовал и плакал, понравились мне: конечно, дома, в Испании, у него были дети. Я видел, как одного из его товарищей вели на казнь; он убил француза. Много лет спустя это незначительное обстоятельство побудило меня написать мое небольшое стихотворение «Солдат», которое Шамиссо перевел на немецкий и которое впоследствии было включено в «иллюстрированные народные сборники солдатских песен».

[Примечание: Эта же песенка, присланная мне автором, была переведена мной и опубликована в 19—м номере журнала Хоуитта. — М.Х.]

Я очень редко играл с другими мальчиками; даже в школе я не проявлял особого интереса к их играм, а всегда оставался сидеть дома. Дома у меня было достаточно игрушек, которые мастерил для меня отец. Больше всего мне нравилось шить одежду для своих кукол или расстилать один из маминых передников между стеной и двумя палками перед кустом смородины, который я посадила во дворе, и таким образом заглядывать в просвечивающиеся на Солнце листья. Я был на редкость мечтательным ребёнком и поэтому постоянно ходил с закрытыми глазами, чтобы в конце концов произвести впечатление слабовидящего, хотя зрение у меня было как у орла.

Иногда, во время сбора урожая, моя мать выходила в поле собирать колосья. Я сопровождал её, и мы, как библейская Руфь и малыш, отправлялись собирать колосья на богатые поля Вооза.

Однажды мы отправились в одно место, судебный пристав которого был хорошо известен как человек грубого и необузданного нрава. Мы увидели, что он приближается с огромным хлыстом в руке, и моя мать и все остальные убежали. На моих босых ногах были деревянные башмаки, и в спешке я потерял их, а потом колючки укололи меня так, что я не мог бежать, и таким образом я остался позади и в одиночестве. Мужчина подошёл и занёс кнут, чтобы ударить меня, но я посмотрел ему в лицо и невольно воскликнул:

— «Как ты смеешь бить меня, когда Бог это видит?»

Сильный, суровый мужчина посмотрел на меня и сразу же смягчился; он похлопал меня по щёчке, спросил, как меня зовут, и дал мне денег. Когда я принёс их своей матери и показал ей, она сказала остальным: «Он странный ребенок, мой Ханс Кристиан; все добры к нему: этот негодяй даже дал ему денег!»

Я рос набожным и суеверным. Я понятия не имел о нужде; конечно, моим родителям хватало только на то, чтобы прожить день за днём, но у меня, по крайней мере, всего было вдоволь; старая женщина перешивала для меня одежду моего отца. Время от времени я ходил с родителями в театр, где первые представления, которые я увидел, были на немецком языке. «Das Donauweibchen» был любимым произведением всего города; однако там я впервые увидел, как деревенские спектакли Хольберга трактуются как опера.

Первое впечатление, которое произвели на меня театр и собравшаяся там толпа, во всяком случае, не свидетельствовало о том, что во мне дремало что-то поэтическое, ибо первым моим восклицанием при виде такого количества людей было:

«Вот если бы у нас было столько бочек с маслом, сколько здесь людей, тогда я бы съел побольше сливочного масла!»

Театр, однако, вскоре стал моим любимым местом, но, поскольку я мог посещать его очень редко, я подружился с человеком, который разносил театральные афиши, и он каждый день дарил мне по одной. Я благодарил его. С этими словами я усаживался в уголке и представлял себе всю пьесу, в соответствии с названием пьесы и её персонажами. Это было моё первое, неосознанное поэтическое переживание. Любимым чтением моего отца были пьесы и рассказы, хотя он также читал исторические труды и Священные Писания. Прочитав что-нибудь, он молча размышлял о прочитанном, но моя мать не понимала его, когда он говорил с ней об этом, и поэтому он становился всё более молчаливым. Однажды он закрыл Библию со словами:

«Христос был таким же человеком, как и мы, но необыкновенным человеком!»

Эти слова привели мою мать в ужас, и она разрыдалась. В отчаянии я молился Богу, чтобы он простил моему отцу это ужасное богохульство.

«Нет другого дьявола, кроме того, что живёт в наших сердцах», — услышал я однажды слова моего отца, и мне стало грустно из-за него и его души; поэтому я полностью разделял мнение моей матери и соседей, когда однажды утром мой отец обнаружил три царапины на своем теле. его рука, вероятно, была проколота гвоздём, потому что дьявол приходил к нему ночью, чтобы доказать ему, что он действительно существует.

Прогулки моего отца по лесу участились, он не знал отдыха. События войны в Германии, о которых он с жадным любопытством читал в газетах, полностью захватили его. Наполеон был его героем: его восхождение из неизвестности к славе было для него самым прекрасным жизненным примером.

В то время Дания была в союзе с Францией; только и разговоров было, что о войне; мой отец поступил на службу солдатом в надежде вернуться домой лейтенантом.

Моя мать плакала. Соседи пожимали плечами и говорили, что глупо выходить на улицу, чтобы в тебя стреляли, когда для этого нет повода. В то утро, когда отряду предстояло выступить в поход, я слышал, как мой отец пел и весело разговаривал, но сердце его было глубоко взволновано; я заметил это по тому, как страстно он поцеловал меня, прощаясь.

Я лежал, больной корью, один в комнате, когда забили барабаны и моя мать, рыдая, проводила моего отца до городских ворот. Как только они ушли, вошла моя старая бабушка; она посмотрела на меня своими кроткими глазами и сказала, что было бы хорошо, если бы я умер, хотя на все воля Божья.

Это был первый день настоящей скорби, который я помню. Полк не продвинулся дальше Голштинии, был заключён мир, и добровольный солдат вернулся к своему рабочему верстаку. Всё вернулось на круги своя. Я снова играл со своими куклами, разыгрывал комедии, и всегда по-немецки, потому что раньше я видел их только на этом языке; но мой немецкий был какой-то тарабарщиной, которую я придумывал на ходу, и в которой было только одно настоящее немецкое слово, и это было «Besen», слово, которое я никогда не слышал.

Помимо этого я нахватался различных диалектов, которые мой отец привёз домой из Гольштейна.

«Мои путешествия и в самом деле приносят тебе некоторую пользу, — сказал он в шутку, — Бог знает, далеко ли ты пойдёшь, но это уж твоя забота! Подумай об этом, Ханс Кристиан!»

Но моя мать хотела, чтобы до тех пор, пока у неё есть хоть какой-то голос в этом вопросе, я оставался дома и не терял здоровья, как это сделал он. Так было и с ним; его здоровье пошатнулось. Однажды утром он проснулся в состоянии сильнейшего возбуждения и говорил только о военных кампаниях и Наполеоне. Ему показалось, что он получил от него приказ принять командование. Моя мать немедленно отправила меня, но не к врачу, а к так называемой мудрой женщине, жившей в нескольких милях от Оденсе. Я отправился к ней. Она расспросила меня, измерила мою руку шерстяной ниткой, делала необычные знаки и, наконец, положила

мне на грудь зелёную веточку. По е1 словам, это был кусок того же дерева, на котором был распят Спаситель.

«А теперь иди, — сказала она, — по берегу реки к дому. Если твой отец умрёт на этот раз, ты встретишь его призрак!»

Можно представить себе мою тревогу и горе — меня, который и так был полон суеверий и легковозбудимого воображения!

«И ты ничего не встретил, не так ли?» — спросила меня мама, когда я вернулась домой. Я с бьющимся сердцем заверила её, что ничего не видел.

Мой отец умер на третий день после этого. Его труп лежал на кровати, поэтому я спал с мамой. Всю ночь напролёт стрекотал сверчок.

— Он умер, — сказала моя мать, обращаясь к нему. — Тебе не нужно звать его. Ледяная дева привела его.

Я понял, что она имела в виду. Я вспомнил, что прошлой зимой, когда наши оконные стёкла замерзли, мой отец указал на них и показал нам фигуру девушки с распростертыми руками. «Она пришла за мной», — сказал он в шутку. И теперь, когда он лежал мёртвый на кровати, моя мать вспомнила об этом, и это тоже занимало мои мысли. Он был похоронен на кладбище церкви Святого Кнуда, у двери с левой стороны от алтаря. Моя бабушка посадила розы на его могиле. Сейчас на том же самом месте есть две могилы незнакомцев, и на них тоже зеленеет трава.

После смерти отца я был полностью предоставлен самому себе. Моя мать уходила стирать, а я сидел дома один со своим маленьким театром, шил одежду для кукол и читал пьесы. Мне говорили, что я всегда был чист и красиво одет. Я вырос высоким, у меня были длинные, светлые, почти жёлтые волосы, и я всегда ходил с непокрытой головой.

По соседству с нами жила вдова священника, мадам Бункефлод, с сестрой своего покойного мужа.

Эта дама открыла мне дверь своего дома, и это был первый дом людей образованного класса, в котором меня любезно приняли. Покойный священник писал стихи и приобрёл известность в датской литературе. В то время его песни о прядении были на устах людей. В своих виньетках, посвященных датским поэтам, я воспевал того, кого забыли мои современники:

Шумят, гремят веретена,
Сливаясь с прошлым наконец
И песни, что поёт страна —
Всего лишь музыка сердец.

Именно здесь я впервые услышал слово «поэт», произнесённое с таким благоговением, словно оно было чем-то священным. Это правда, что мой отец читал мне пьесу Хольберга, но сейчас они говорили не о ней, а о стихах и поэтической прозе.

— Мой брат — поэт! — сказала сестра Бункефлода, и глаза её заблестели, когда она это произнесла. От неё я узнал, что быть поэтом — это нечто великолепное, нечто счастливое, потрясающее и главное в жизни. Теперь я понимаю, что времена и общественное устройство очень сильно формируют пристрастия поколений, и то, что в одно время может быть свято и вознесено, в другое не найдёт ни одного последователя. Так что наше стремление к поэзии, возможно, было всего лишь странной флуктуацией истории, в которой наследственный аристократизм был временно заменён аристократизмом приверженности искусствам.

Здесь же я впервые прочитал Шекспира, правда, в плохом переводе; но смелые описания, героические эпизоды, ведьмы и привидения пришлись мне по вкусу. Я сразу же поставил пьесы Шекспира в своем маленьком кукольном театре. Я воочию видел призрак Гамлета и жил на вересковой пустоши с Лиром. Чем больше людей умирало в пьесе, тем интереснее она мне казалась. В то время я писал свою первую пьесу: это была не что иное, как трагедия, в которой,

как само собой разумеющееся, умирали все. Сюжет я позаимствовал из старой песни о Пираме и Фисбе; но я увеличил количество инцидентов из-за отшельника и его сына, которые оба любили Фисбу и покончили с собой, когда она умерла. Многие речи отшельника были цитатами из Библии, взятыми из малого катехизиса, особенно из «Нашего Долга перед Близними».

Этому произведению я дал название «Абор и Эльвира».

— Это должно было называться «Окунь и морская рыба», — остроумно заметила мне одна из наших соседок, когда я пришёл к ней с книгой, прочитав её с большим выражением, а также радостной потехой для всех жителей нашей улицы. Это меня совершенно расстроило, потому что я почувствовал, что она выставляет на посмешище и меня, и мое стихотворение.

С тяжёлым сердцем я рассказал об этом своей матери.

— Она так сказала только потому, — ответила моя мать, — что её сын сам этого не умеет!

Я успокоилась и начала новую пьесу, в которой король и королева были одними из действующих лиц. Я подумал, что это не совсем правильно, что эти величественные персонажи, как у Шекспира, говорят как обычные мужчины и женщины. Я спрашивала свою мать и других людей, как должен говорить король, но никто точно не знал. Они говорили, что прошло столько лет с тех пор, как король в последний раз был в Оденсе, но что он определённо говорил на иностранном языке. Поэтому я составил своего рода словарь, в котором были немецкие, французские и английские слова с датским значением, и это помогло мне. Я взял по слову из каждого языка и вставил их в речи моих короля и королевы. Это был обычный вавилонский язык, который, по моему мнению, подходил только для таких возвышенных персон.

Теперь я хотел, чтобы все услышали мою пьесу. Для меня было настоящим счастьем читать её вслух, и мне никогда не приходило в голову, что другие не обязательно должны получать такое же удовольствие, слушая её, как я.

Сын одного из наших соседей работал на суконной фабрике и каждую неделю приносил домой кое-какие деньжата. Люди говорили, что я был на мели и ничего не получал. Теперь я тоже должен был пойти на фабрику, «не ради денег», — сказала моя мать, — «но чтобы она знала, где я был и что делал». Поэтому моя старая бабушка привела меня в то место и была очень тронута, потому что, по её словам, она не ожидала, что доживёт до того времени, когда я буду общаться с бедными оборванными парнями, которые там работали.

Многие из подмастерьев, работавших на мануфактуре, были немцами; они пели и были весёлыми парнями, и многие их грубые шутки вызывали громкий смех. Я услышал их и понял, что для невинных детских ушей нечистое должно всегда оставаться очень непонятным. Их балагурство не тронуло моего сердца. В то время я обладал удивительно красивым и высоким сопрано, и я знал это; потому что, когда я пел в маленьком садике моих родителей, люди на улице стояли и слушали, а знатные люди в саду статского советника, который примыкал к нашему, слушали у забора. Поэтому, когда работники мануфактуры спросили меня, умею ли я петь, я немедленно начал, и все станки остановились: все подмастерья слушали только меня. Мне приходилось петь снова и снова, в то время как другим мальчикам поручали мою работу. Тогда я сказал им, что тоже могу играть в пьесах и что знаю целые сцены из Хольберга и Шекспира. Я всем понравился; таким образом, первые дни на мануфактуре прошли очень весело.

Однако однажды, когда я пел в самом расцвете сил и все говорили о необыкновенном блеске моего голоса, один из подмастерьев сказал, что я девочка, а не мальчик. Он схватил меня за руку. Я плакал и визжал. Другим подмастерьям это показалось очень забавным, и они крепко держали меня за руки и за ноги. Я громко закричал, и мне стало стыдно, как девочке; а затем, вырвавшись от них, я бросился домой к своей матери, которая немедленно пообещала мне, что я никогда больше туда не пойду. Я снова навестил мадам Бункефлод, ко дню рождения которой я придумала и сшил белую шелковую подушечку для булавок.

Я также познакомился с другой пожилой вдовой священника, жившей по соседству. Она разрешила мне почитать ей вслух книги, которые были у неё в библиотеке. Одна из них начи-

налась такими словами: «Ночь была ненастная, дождь барабанил в оконные стекла». «Это необыкновенная книга», — сказала пожилая леди, и я совершенно невинно спросил её, откуда она это знает.

«Я с самого начала могла сказать, — сказала она, — что это будет нечто экстраординарное».

Я относился к её проницательности с каким-то благоговением. Однажды, во время сбора урожая, моя мать взяла меня с собой и отвела за много миль от Оденсе в поместье знатного человека в окрестностях Богенсе, её родном местечке. Дама, которая жила там неподалёку от родителей матери, сказала, что когда-нибудь, возможно, приедет навестить нас, и мы решили навестить её. Для меня это было большое путешествие: большую часть пути мы проделали пешком, и на дорогу ушло, по-моему, два дня. Здешняя местность произвела на меня такое сильное впечатление, что моим самым искренним желанием было остаться здесь и стать крестьянином. Это было как раз в сезон сбора хмеля; мы с мамой сидели в амбаре в окружении множества деревенских жителей вокруг большого закрома и помогали собирать хмель. Сидя за работой, они рассказывали разные истории, и каждый рассказывал, какие удивительные вещи он видел или пережил. Однажды днём я услышал, как один старик из их числа сказал, что Бог знает всё — и то, что произошло, и то, что произойдёт в будущем. Эта мысль занимала всё мое сознание, и ближе к вечеру, когда я в одиночестве вышел со двора, где был глубокий пруд, и встал на несколько камней, которые находились прямо в воде, в моей голове промелькнула мысль, действительно ли Бог знал всё, что там должно было произойти.

«Да, теперь он решил, что я буду жить и доживу до стольких-то лет», — подумал я. Но если я сейчас прыгну в воду и утоплюсь, то это будет совсем не так, как ему хотелось; и я вдруг твёрдо и непреклонно решил утопиться. Я побежала туда, где вода была глубже, и тут новая мысль пронзила мою душу.

«Это дьявол хочет иметь надо мной власть!»

Я громко вскрикнул и, убежав от этого места, как будто за мной гнались, упал, рыдая, в объятия своей матери. Но ни она, ни кто-либо другой не могли выпытать у меня, что со мной не так.

«Он определенно видел привидение!» — сказала одна из женщин, и я сам почти поверил в это.

Моя мать вышла замуж во второй раз за молодого ремесленника, но его семья, которая также принадлежала к ремесленному сословию, считала, что он женился на женщине ниже себя, и ни мне, ни матери не разрешалось навещать их. Мой отчим был молодым, серьёзным человеком, который не хотел иметь никакого отношения к моему образованию. Поэтому я проводил все свое время за своим пип-шоу и кукольным театром, а самым большим моим счастьем было коллекционирование ярких цветных лоскутков ткани и шёлка, которые я сам резал и шивал.

Моя мать считала это хорошей подготовкой к тому, чтобы я стал портным, и считала, что я определённо рождён для этого. Я, напротив, сказал, что пойду в театр и стану актером, чему моя мать самым решительным образом воспротивилась, потому что не знала другого театра, кроме «бродячих актеров» и «канатных плясунов».

Нет, я должен стать портным. Единственное, что в какой-то мере примиряло меня с этой перспективой, так это то, что тогда я получу так много заплаток для своего театра.

Моя страсть к чтению, множество драматических сцен, которые я знал наизусть, и мой удивительно красивый голос в какой-то мере привлекли ко мне внимание нескольких наиболее влиятельных семей Оденса. За мной посылали в их дома, и особенности моего склада ума вызвали у них интерес. Среди других, кто обратил на меня внимание, был полковник Хог-Гульдберг, который вместе со своей семьёй проявил ко мне самое искреннее сочувствие; настолько, что представил меня нынешнему королю, тогдашнему принцу Кристиану.

Я быстро рос и был высоким мальчиком, о котором моя мать говорила, что больше не может позволять ему бродить без всякой цели в жизни. Поэтому меня отдали в благотворительную школу, но там я изучал только религию, письмо и арифметику, причём последнее преподносилось довольно плохо; к тому же я едва мог правильно написать хотя бы слово. На день рождения мастера я всегда плёл ему гирлянду и писал стихи; он принимал их наполовину с улыбкой, наполовину в шутку; однако в последний раз он отругал меня. Уличные мальчишки тоже слышали от своих родителей о моём странном характере и о том, что у меня была привычка посещать дома знати. Поэтому однажды за мной погналась дикая толпа, которая насмешливо кричала мне вслед:

«Смотрите, это бежит драматург!»

Дома я забился в угол, плакал и молился Богу. Моя мать сказала, что я должен пройти конфирмацию, чтобы стать учеником портного и таким образом заняться чем-то полезным.

Она любила меня всем сердцем, но не понимала моих порывов и стремлений, как, впрочем, и я сам в то время. Окружающие её люди всегда осуждали мои странности и выставляли меня на посмешище. Мы принадлежали к приходу Святого Кнуда, и кандидаты на конфирмацию могли указать свои имена либо у настоятеля, либо у капеллана. Дети из так называемых богатых семей и ученики начальной школы ходили в первый приход, а дети бедняков — во второй. Я, однако, объявил себя кандидатом прево, который был обязан принять меня, хотя и обнаружил тщеславие в том, что я причислил себя к его катехизаторам, где, хотя и занимал самое низкое место, всё же был выше тех, кто находился под опекой капеллана.

Однако я хотел бы надеяться, что мною двигало не только тщеславие. Я испытывал своего рода страх перед бедными мальчиками, которые смеялись надо мной, и всегда испытывал как бы внутреннее влечение к ученикам начальной школы, которых считал намного лучше других мальчиков. Когда я видел, как они играют на церковном дворе, я стоял за оградой и мечтал оказаться в числе счастливых — не ради игр, а ради множества книг, которые у них были, и ради того, кем они могли бы стать в этом мире. Таким образом, с помощью прево я мог бы сойтись с ними и стать таким, каким они были раньше; но сейчас я не помню ни одного из них, так мало они общались со мной.

У меня ежедневно возникало ощущение, что я сунулся туда, где, по мнению людей, мне не место. Однако там была одна молодая девушка, которая тоже занимала высокое положение, о которой я должен буду упомянуть позже; она всегда смотрела на меня мягко и доброжелательно и даже однажды подарила мне розу. Я вернулся домой, полный счастья, потому что там было одно существо, которое не упускало меня из виду и не отталкивало. Старая портниха перешила пальто моего покойного отца в костюм для конфирмации; никогда прежде я не носил такого хорошего пальто. Кроме того, впервые в жизни у меня была пара ботинок. Мой восторг был неопишем; единственное, чего я боялся, так это того, что никто их не увидит, и поэтому я натянул их поверх брюк и в таком виде прошептал по церкви. Ботинки скрипели, и это доставляло мне внутреннее удовлетворение, так как прихожане могли услышать, что они новые.

Вся моя преданность была нарушена; Я осознавал это, и меня мучили угрызения совести из-за того, что я думал не только о Боге, но и о своих новых ботинках. Я искренне, от всего сердца помолился ему, чтобы он простил меня, а затем снова стал думать о своих новых ботинках. За последний год я скопил небольшую сумму денег. Когда я пересчитал их, то обнаружил, что в банке тринадцать риксов (около тридцати шиллингов). Я был вне себя от радости, что стал обладателем такого богатства, и поскольку моя мать теперь самым решительным образом требовала, чтобы я пошёл в ученики к портному, я молился и умолял её разрешить мне совершить путешествие в Копенгаген, чтобы я мог увидеть величайший город в мире.

«Что ты там будешь делать?» — спросила моя мать.

«Я стану знаменитым», — ответил я и рассказал ей все, что читал о выдающихся людях. «Людам, — сказал я, — сначала приходится пройти через множество невзгод, а потом они становятся знаменитыми».

Мною руководил совершенно необъяснимый порыв. Я плакал, молился, и, наконец, моя мать согласилась, предварительно послав за так называемой знахаркой из больницы, чтобы она могла предсказать мне будущее по кофейной гуще и картам.

— Ваш сын станет великим человеком, — сказала старуха, — и в честь него Оденс однажды будет освящён!

Моя мать заплакала, когда услышала это, и я получил разрешение на поездку. Все соседи говорили моей матери, что это ужасно — отпускать меня, четырнадцатилетнего, в Копенгаген, который находится так далеко, в таком большом и запутанном городе, где я никого не знаю.

— Да, — ответила моя мать, — но он не даёт мне покоя; поэтому я дала свое согласие, но я уверена, что он не поедет дальше Ньюборга; когда он увидит бурное море, он испугается и повернёт обратно!

Летом, перед моей конфирмацией, часть певцов и артисток Королевского театра побывали в Оденсе и поставили там ряд опер и трагедий. Они покорили весь город. Как я уже говорил, я был в хороших отношениях с человеком, доставлявшим афиши, видел спектакли за кулисами и даже однажды играл роли пажей, пастухов и т. д. И произносил иной раз несколько слов. В таких случаях моё рвение было настолько велико, что я стоял уже полностью одетый, когда актеры только начинали приходить переодеваться.

Таким образом, их внимание было целиком направлено на меня; мои детские манеры и энтузиазм забавляли их; они ласково разговаривали со мной, и я смотрел на них из массовки снизу вверх, как на земных богов. Всё, что я раньше слышал о моем музыкальном голосе и умении читать стихи, стало мне понятно. Это был театр, для которого я был рождён: именно там я должен был стать знаменитым человеком, и по этой причине Копенгаген был целью моих начинаний. Я слышал много разговоров о большом театре в Копенгагене и о том, что скоро там будет так называемый балет, нечто, превосходящее и оперу, и пьесу; особенно мне запомнилась сольная танцовщица мадам Шалль, о которой говорили как о первой Приме из всех. Поэтому она представлялась мне королевой всего, и в своем воображении я воспринимал её как ту, которая смогла бы сделать для меня всё, если бы я только смог заручиться её поддержкой.

Обуреваемый этими мыслями, я отправился к старому печатнику Иверсену, одному из самых уважаемых граждан Оденсе, который, как я слышал, поддерживал тесные связи с актёрами, когда они бывали в городе. Я подумал, что он, несомненно, был знаком со знаменитой танцовщицей; его я бы попросил дать мне рекомендательное письмо к ней, а остальное я бы вверил Богу. Старик увидел меня в первый раз и выслушал мою просьбу с большой добротой, но самым решительным образом стал отговаривать меня от этого и сказал, что я мог бы научиться какому-нибудь ремеслу.

«Это действительно было бы большим грехом», — возразил я. Он был поражен тем, как я это сказал, и это расположило его в мою пользу; он признался, что не был лично знаком с танцовщицей, но всё же пообещал передать мне письмо к ней.

Я получил его от него и теперь считал, что цель почти достигнута. Мама собрала мою одежду в небольшой узелок и договорилась с кучером почтовой кареты, что он отвезёт меня обратно в Копенгаген за три рикских талера.

Наступил день, когда мы должны были отправиться в путь, и мама проводила меня до городских ворот. Здесь стояла моя старая бабушка; за последние несколько лет её прекрасные волосы поседели; она бросилась мне на шею и заплакала, не в силах вымолвить ни слова. Я сам был глубоко потрясен. На этом мы расстались. Больше я её не видел; она умерла в следующем году. Я даже не знаю, где её могила; она покоится на кладбище при богадельне.

Фореитор протрубил в рог; был чудесный солнечный день, и солнечный свет вскоре проник в мое весёлое детское сознание. Я восхищался каждым новым предметом, который попался мне на глаза, и шёл к цели, к которой стремилась моя душа.

Однако, когда я прибыл в Ньюборг и меня увезли на корабле с моего родного острова, я по-настоящему почувствовал, насколько я одинок и покинут, и что мне не на кого положиться, кроме Бога на небесах. Как только я ступил на землю Зеландии, я зашёл за навес, стоявший на берегу, и, упав на колени, стал молить Бога помочь и направить меня правильным путём; я почувствовал себя утешенным, сделав это, и я твёрдо верил в Бога и в свою удачу. Весь день и следующую ночь я путешествовал по городам и весям; я одиноко стоял у вагона и ел свой хлеб, пока его упаковывали. — Мне казалось, что я нахожусь далеко-далеко на белом свете, где-то на краю Земли.

Глава II

Утром в понедельник, 5 сентября 1819 года, я впервые увидел с высоты Фредериксбурга Копенгаген. На этом месте я вышел из экипажа и, держа в руке свой маленький свёрток, вошёл в город через замковый сад, длинную аллею и предместье. Вечер перед моим приездом запомнился тем, что разразилась так называемая еврейская ссора, которая охватила многие европейские страны. Весь город был в смятении; все люди были на улицах; шум и суматоха Копенгагена намного превосходили любое представление, которое сложилось об этом в моем воображении, в то время для меня это был великий город.

Имея в кармане всего десять таллеров, я зашёл в маленький трактир. Первым моим походом был театр. Я много раз обходил его; я любовался его стенами и считал их почти родным домом. Один из продавцов, который каждый день бродил здесь, заметил меня и спросил, не хочу ли я получить счет.

Я был настолько невежествен в этом мире, что подумал, что этот человек хочет мне его дать; поэтому я с благодарностью принял его предложение. Он подумал, что я смеюсь над ним, и рассердился, так что я испугался и поспешил покинуть место, которое было для меня самым дорогим в городе. Тогда я и представить себе не мог, что десять лет спустя моя первая драматическая пьеса будет представлена именно там и что в таком виде я предстану перед датской публикой. На следующий день я облачился в свой костюм для конфирмации, не забыв и о ботинках, хотя на этот раз они, естественно, были надеты под брюки; и вот, в своём лучшем наряде, в шляпе, наполовину надвинутой на глаза, я поспешил вручить свое письмо о знакомство с танцовщицей мадам Шалль.

Прежде чем позвонить в колокольчик, я упал на колени перед дверью и помолился Богу, чтобы здесь я нашёл помощь и поддержку. По ступенькам спустилась служанка с корзинкой в руке; она ласково улыбнулась мне, дала скиллинг (датский) и пошла дальше. Я удивленно посмотрела на неё и на деньги. На мне был костюм для конфирмации, и я думал, что, должно быть, выгляжу очень элегантно. Как же тогда она могла даже помыслить, что я хочу просить милостыню? Я крикнул ей вслед.

Кажется, она меня не поняла.

«Оставь это себе, оставь!» — сказала она мне в ответ и ушла.

Наконец меня впустили к танцовщице; она посмотрела на меня с большим изумлением, а затем выслушала то, что я хотел сказать. Она не имела ни малейшего представления о том, от кого пришло письмо, и весь мой вид и поведение показались ей очень странными. Я признался ей в своей искренней склонности к театру, и когда она спросила меня, каких персонажей, по моему мнению, я мог бы сыграть, я ответил: Золушку.

Эта пьеса была поставлена в Оденсе королевской труппой, и главные герои так сильно мне понравились, что я мог прекрасно сыграть их по памяти. Тем временем я попросил у неё разрешения снять сапоги, иначе я был бы недостаточно лёгок для этого персонажа; а затем, взяв свою широкополую шляпу вместо тамбурина, я начал танцевать и петь, — «Здесь, внизу, ни положение, ни богатство не избавляют от боли и горя».

Мои странные жесты и бурная деятельность заставили даму подумать, что я сошёл с ума, и она, не теряя времени, выпроводила меня восвояси.

От неё я отправился к директору театра просить о приглашении. Он посмотрел на меня и сказал, что я «слишком худой для театра».

«О, — ответил я, — если вы предложите мне только зарплату в сто риксов в банке, я скоро растолстею!»

Менеджер серьёзно посоветовал мне идти своей дорогой, добавив, что они нанимают только людей с образованием. Я стоял там, глубоко уязвлённый. Во всём Копенгагене я не знал

никого, кто мог бы дать мне совет или утешение. Я думал о смерти как о чём-то единственном и самом лучшем выходе для меня; но даже тогда мои мысли возносились к Богу, и со всем несомненным доверием ребёнка к своему отцу они были прикованы к Нему. Я горько заплакал, а потом сказал себе:

«Когда всё принимает ужасный оборот, только тогда он посылает помощь. Я всегда так считал. Люди должны сначала очень сильно пострадать, прежде чем они смогут чего-то добиться».

Я пошёл и купил билет на галерку на оперу «Павел и Виргиния». Разлука влюблённых так растрогала меня, что я разрыдался навзрыд. Несколько женщин, сидевших рядом со мной, утешили меня, сказав, что это всего лишь игра и беспокоиться не о чем, а потом дали мне бутерброд с колбасой. Я питал величайшее доверие ко всем, и поэтому я сказал им с предельной откровенностью, что на самом деле я плачу не из-за Пола и Вирджинии, а потому, что считаю театр своей Вирджинией, и что, если мне придётся расстаться с ним, я буду так же несчастен, как Пол. Они посмотрели на меня и, казалось, не поняли, что я имею в виду. Затем я рассказал им, зачем приехал в Копенгаген и как мне здесь одиноко. Поэтому одна из женщин дала мне ещё хлеба и масла, фруктов и пирожных. На следующее утро я оплатил свой счёт и, к своему величайшему огорчению, увидел, что все моё состояние состоит из одного рикса в банке. Поэтому мне было необходимо либо найти какое-нибудь судно, которое доставило бы меня домой, либо наняться на работу к какому-нибудь ремесленнику. Я считал, что последнее было бы лучшим выбором, потому что, если бы я вернулся в Оденс, мне пришлось бы и там заняться подобной работой; кроме того, я очень хорошо знал, что люди там будут смеяться надо мной, если я вернусь, как проигравший. Мне было безразлично, какому ремеслу я научусь, — я просто хотел использовать это, чтобы сохранить возможность жить в Копенгагене. Поэтому я купил газету. Среди объявлений я нашёл, что столяру-краснодеревщику требуется ученик. Этот человек принял меня любезно, но сказал, что, прежде чем я буду связан с ним узами договора, он должен получить свидетельство о рождении и мою книгу регистрации крещения в Оденсе; а пока они не пришли, я могу пожить у него дома и попробовать, как мне это понравится.

На следующий день в шесть часов утра я пришёл в мастерскую: там было несколько мастеров и два или три подмастерья; но хозяина всё не было. Они погрузились в весёлую и праздную беседу. Я была застенчив, как девочка, и, поскольку они скоро это заметили, я был безжалостно настроен против этого. Позже, в тот же день, грубые шутки молодых людей зашли так далеко, что, вспомнив сцену на фабрике, я принял твёрдое решение ни дня больше не оставаться в мастерской. Поэтому я спустился к учителю и сказал ему, что не могу этого вынести; он попытался утешить меня, но тщетно: я был слишком растроган и поспешил уйти. Теперь я ходил по улицам; никто меня не знал; я был совершенно одинок.

Затем я вспомнил, что прочитал в газете в Оденсе имя итальянца Сибони, который был директором Академии музыки в Копенгагене. Все хвалили мой голос; возможно, он поможет мне только ради него; если нет, то в тот же вечер я должен буду найти капитана какого-нибудь судна, который отвезёт меня обратно домой. При мысли о возвращении домой я пришёл в ещё большее возбуждение и в таком состоянии страдания поспешил в дом Сибони. Случилось так, что в тот самый день он пригласил на ужин большую компанию; там были наш знаменитый композитор Вейзе, поэт Баггесен и другие гости.

Дверь мне открыла экономка, и я рассказала ей не только о своём желании стать певцом, но и обо всей истории своей жизни. Она выслушала меня с величайшим сочувствием, а затем ушла. Я долго ждал, и она, должно быть, повторяла компании большую часть того, что я сказал, потому что через некоторое время дверь открылась, и все гости вышли и посмотрели на меня. Они попросили меня спеть, и Сибони внимательно меня выслушал. Я показал несколько

сцен из Хольберга и повторил несколько стихотворений; и вдруг осознание своего несчастного положения настолько овладело мной, что я разрыдался; вся труппа зааплодировала.

«Я предсказываю, — сказал Баггесен, — что однажды из него что-то выйдет; но не будь тщеславен, когда однажды вся публика будет аплодировать тебе!» и затем он добавил что-то о чистой, истинной натуре, и о том, что это слишком часто разрушается годами и общением с человечеством. Я не всё понимал. Сибони обещал улучшить мой голос и, следовательно, добиться успеха в качестве певца в Королевском театре. Это сделало меня очень счастливым; я смеялся и плакал; а когда экономка вывела меня из комнаты и увидела, в каком волнении я работаю, она погладила меня по щекам и сказала, что на следующий день я должна пойти к профессору Вейзе, который намеревался что-то для меня сделать и на которого я мог положиться.

Я пошёл к Вейзе, который сам с трудом выбрался из нищеты; он глубоко прочувствовал и полностью понял мое несчастливое положение и собрал для меня по подписке семьдесят риксов в банке. Тогда я написал своё первое письмо матери, письмо, полное радости, потому что, казалось, на меня излилась удача всего мира. Моя мать на радостях показала мое письмо всем своим друзьям; многие услышали о нём с удивлением, другие смеялись над ним, потому что непонятно, что чем все это кончилось? Чтобы понимать Сибони, мне необходимо было немного выучить немецкий. Жительница Копенгагена, с которой я путешествовал из Оденсе в этот город и которая с радостью, в меру своих возможностей, поддержала бы меня, нашла через одного из своих знакомых преподавателя немецкого языка, который безвозмездно дал мне несколько уроков немецкого, и таким образом я выучил несколько фраз на этом языке.

Сибони принял меня в своем доме, накормил и обучил; но полгода спустя у меня сорвался голос или была травма, из-за того, что я был вынужден всю зиму носить плохую обувь и, кроме того, не имел тёплого белья. У меня больше не было надежды стать хорошим певцом. Сибони откровенно сказал мне об этом и посоветовал поехать в Оденс и там научиться какому-нибудь ремеслу.

Я, который в ярких красках фантазии описывал своей матери счастье, которое на самом деле испытывал, теперь должен был вернуться домой и стать объектом насмешек! Мучимый этой мыслью, я стоял, словно пригвожденный к земле. И всё же именно среди этого, казалось бы, огромного несчастья лежали ступеньки к большей удаче.

Когда я снова почувствовал себя покинутым и одиноким, я предался размышлениям о том, что мне делать дальше, и мне пришло в голову, что поэт Гульдберг, брат полковника с таким же именем из Оденса, который проявил ко мне столько доброты, живёт в Копенгагене.

В то время он жил неподалеку от нового церковного двора за городом, о котором он так прекрасно воспел в своих стихах. Я написал ему и рассказал обо всём; позже я сам отправился к нему и застал его в окружении книг и трубок с табаком. Этот сильный, сердечный человек принял меня по-доброму; и поскольку он увидел по моему письму, как неправильно я пишу, он пообещал обучить меня датскому языку; он немного экзаменовал меня по немецкому и подумал, что было бы неплохо, если бы он мог улучшить меня и в этом отношении. Более того, он преподнёс мне в подарок гонорар от небольшой работы, которую он только что опубликовал; о ней стало известно, и я полагаю, что она превысила сто риксов в банке; превосходный Вейзе и другие также поддерживали меня. Останавливаться в трактире для меня было слишком дорого, поэтому я был вынужден искать частное жильё. Мое незнание окружающего мира привело меня к вдове, жившей на одной из улиц Копенгагена с самой дурной репутацией; она была склонна принять меня в своём доме, и я никогда не подозревал, что за мир вращался вокруг меня. Она была строгой, но деятельной дамой; она описывала мне других жителей города в таких ужасных красках, что я решил, что нахожусь в единственном безопасном месте в этом городе. Я должен был ежемесячно платить двадцать риксов за одну комнату, которая представляла собой пустую кладовку без окон и света, но мне разрешалось сидеть в её гостиной.

Сначала я должен был попробовать это в течение двух дней, а на следующий день она сказала мне, что я могу решить остаться или немедленно уйти. Мне, который так легко сходился с людьми, она уже нравилась, и я чувствовал себя с ней как дома; но Вейзе сказал, что я не должен платить больше шестнадцати таллеров в месяц, и это была сумма, которую я получал от него и Гульдберга, так что у меня не оставалось излишков на следующий год, учитывая другие мои расходы.

Это меня очень беспокоило; когда она вышла из комнаты, я сел на диван и стал рассматривать портрет её покойного мужа. Я был таким маленьким ребёнком, что, когда слёзы сами катились по моим щекам, я омочил своими слезами глаза на портрете, чтобы покойный почувствовал, как я встревожен, и повлиял на сердце его жены. Должно быть, она поняла, что больше из меня ничего не вытянешь, потому что, вернувшись в комнату, сказала, что примет меня в своем доме за шестнадцать риксов. Я возблагодарил Бога и покойного. Я оказался в эпицентре тайн Копенгагена, но не понимал, как их интерпретировать. В доме, где я жил, была дружелюбная молодая леди, которая жила одна и часто плакала; каждый вечер её старый отец приходил навестить её. Я часто открывал ему дверь; он был одет в простое пальто, его шея была сильно подвязана, а шляпа надвинута на глаза. Он всегда пил чай с ней, и никто не осмеливался присутствовать при этом, потому что он не любил компании: она, казалось, никогда не радовалась его приходу. [Примечание: Этого персонажа можно узнать по Штеффен Маргарет в сочинении «Всего лишь скрипач». — М. Х.] Много лет спустя, когда я поднялся ещё на одну ступень жизненной лестницы, когда передо мной открылся изысканный мир светской жизни, однажды вечером я увидел посреди ярко освещенного зала вежливого пожилого джентльмена, увешанного орденами, — это был старый отец в поношенном костюме. пальто, тот, кого я впустил. Он и понятия не имел, что я открыл ему дверь, когда он играл свою роль гостя, но я, со своей стороны, тогда тоже думал только о том, чтобы разыграть свою собственную комедию; то есть в то время я был таким ребёнком, что играл со своими друзьями. Я устроил кукольный театр и сшил одежду для своих кукол; и чтобы раздобыть для этой цели яркие латки, я обычно ходил по магазинам и спрашивала образцы различных тканей и лент. У меня самого не было ни гроша; моя квартирная хозяйка забирала все деньги на месяц вперёд; только время от времени, когда я выполнял для неё какие-нибудь поручения, она давала мне что-нибудь, и то лишь на покупку бумаги или старых детских книжек. Теперь я был очень счастлив, и вдвойне потому, что профессор Гульдберг уговорил Линдгрона, первого комического актера в театре, давать мне уроки. Он дал мне разучить несколько ролей в Хольберге, таких как «Хендрик» и «Глупый мальчик», к которым я проявил некоторый талант. Однако моим желанием было сыграть Корреджио. Я получил разрешение разучить это произведение по-своему, хотя Линдгрон с комической серьезностью спросил, надеюсь ли я быть похожим на великого художника? Я, однако, повторил ему свой монолог в картинной галерее с таким чувством, что старик хлопнул меня по плечу и сказал:

«Чувства у тебя есть, но ты, должно быть, не актёр, хотя Бог знает, кто ещё. Поговорите с Гульдбергом о том, как вы изучаете латынь: это всегда открывает путь для студента».

Я студент! Эта мысль никогда раньше не приходила мне в голову. Театр был мне ближе и в то же время дороже, но латынь я тоже всегда хотел выучить. Но прежде чем поговорить на эту тему с Гульдбергом, я упомянул об этом даме, которая бесплатно обучала меня немецкому языку; но она сказала мне, что латынь — самый дорогой язык в мире и что бесплатное обучение ему невозможно. Однако Гульдбергу удалось добиться того, что один из его друзей по доброте душевной давал мне два бесплатных урока в неделю.

Танцор Дален, жена которого в то время была одной из первых артисток на датских подмостках, открыл для меня свой дом. Я провёл там много вечеров, и эта нежная, сердечная дама была добра ко мне. Муж взял меня с собой в школу танцев, и это приблизило меня ещё на шаг к театральным кулисам. Там я простаивал все утро с длинным посохом и разминал ноги; но,

несмотря на все моё расположение, Дален считал, что я никогда не выйду за рамки фигуранта массовки.

Однако у меня было одно преимущество: как-нибудь вечером я мог появиться за кулисами театра; более того, я мог бы даже сесть на самую дальнюю скамью в ложе, где кучковались члены массовки. Мне казалось, что я очутился в самом эпицентре театра, хотя на самой сцене я ещё ни разу не был.

Однажды вечером давали маленькую оперу «Два маленьких савояра»; в массовку на сцене приглашали всех, звали даже торговцев с рынка, даже механиков, они могли подняться, чтобы помочь заполнить сцену; я слышал, как им объясняли, что делать, и, слегка нарумянившись, с радостью поднялся вместе с остальными. На мне было мое обычное платье; камзол для конфирмации, который всё ещё по-привычке держался на мне, хотя после чистки и починки выглядел весьма плачевно, и огромная шляпа, которая сползала мне на лоб. Я прекрасно сознавал, в каком плачевном состоянии находится мой наряд, и был бы рад скрыть это; но из-за этого мои движения стали ещё более угловатыми, как у марионетки. Я не решался выпрямиться, потому что, поступая так, я ещё больше норовил продемонстрировать короткость своего жилета, из которого я уже давно вырос. У меня было ясное предчувствие, что люди будут смеяться надо мной, но в тот момент я не испытывал ничего, кроме счастья оттого, что впервые оказался перед рампой.

Моё сердце забилося; я сделал шаг вперёд; к нам подошел один из певцов, о котором в то время много говорили, но теперь забыли напрочь; он взял меня за руку и насмешливо пожелал мне счастья в моём дебюте.

«Позвольте представить вас датской публике», — сказал он и подвел меня к лампам.

«Люди будут смеяться надо мной» — я чувствовал это; слёзы катились по моим щекам; я вырвался и ушёл со сцены, полный страданий и унижения. Вскоре после этого Дален поставил балет «Армида», в котором мне досталась небольшая роль: я был духом. В этом балете я познакомился с супругой профессора Хайберга, женой поэта, а ныне весьма уважаемой актрисой датской сцены; она, тогда ещё маленькая девочка, тоже играла в нём роль, и наши имена были указаны в афише.

Это был величайший момент в моей жизни, миг, когда мое имя было напечатано большими буквами! Мне казалось, что я вижу в нём ореол абсолютного бессмертия.

Я всё время смотрел на напечатанный лист бумаги. Вечером, ложась спать, я брал с собой программу балета, лежал и перечитывал своё имя при свете свечи — словом, я был счастлив. К тому времени я прожил в Копенгагене уже два года. Деньги, собранные для меня, были израсходованы, но мне было стыдно напоминать о себе и открыто заявлять о своих нуждах. Я переехал в дом женщины, муж которой при жизни был капитаном торгового судна, и там у меня были только кров и завтрак.

Это были тяжёлые, мрачные дни моей жизни. Дама считала, что я обедал в разных семьях, в то время как я всего лишь имел возможность съесть немного хлеба на одной из скамеек в Королевском саду. Я очень редко заходил в самые дешёвые рестораны и выбирал там самое дешёвое блюдо. По правде говоря, я был очень одинок, но по счастью не ощущал всей тяжести своего положения. Каждого, кто говорил со мной по-доброму, я воспринимал как верного друга. Бог был со мной в моей маленькой комнате; и часто по вечерам, когда я произносил свою вечернюю молитву, я спрашивал Его, как ребенок:

«Скоро ли мне станет лучше?»

У меня сложилось представление, что, как это бдет со мной в первый день Нового года, так будет и в течение всего года; и моим самым заветным желанием было получить роль в пьесе.

Наступил Новый год.

Театр был закрыт, и только полуслепой швейцар сидел у входа на сцену, на которой не было ни души. С бьющимся сердцем я прокрался мимо него, прошел между подвижными кули-

сами и занавесом и вышел на открытую часть сцены. Здесь я упал на колени, но не смог вспомнить ни одного стиха для декламации. Затем я произнес вслух молитву Господню и вышел с убеждением, что, поскольку я выступал со сцены в первый день Нового года, в течение года мне удастся выступить ещё лучше, а также добиться того, чтобы мне была отведена хоть какая-то роль.

За два года моего пребывания в Копенгагене я ни разу не выезжал за город. Только однажды я был в парке, и там я был полностью поглощён изучением развлечений людей и их весёлой суеты. Весной третьего года обучения я впервые вышел погулять среди зелени весеннего утра. Это было в саду Фредериксберга, летней резиденции Фридриха VI.

Внезапно я застыл на месте под первым большим буком, на котором распускались почки. Солнце делало листья прозрачными, чувствовался аромат, свежесть, пели птицы. Я был потрясён — я громко закричал от радости, обнял дерево и поцеловал его.

— Он что, сумасшедший? — спросил мужчина, стоявший у меня за спиной. Это был один из слуг замка. Я убежал, потрясённый услышанным, а затем задумчиво и спокойно вернулся в город.

Тем временем мой голос частично обрёл свою звучность. Учитель пения в хоровой школе, услышав это, предложил мне место в школе, полагая, что, распевая в хоре, я получу большую свободу в проявлении своих способностей на сцене. Я думал, что таким образом смогу открыть для себя новый путь.

Из школы танцев я перешёл в школу пения и поступил в хор, сначала как пастух, а затем как воин.

Театр был моим миром. Мне разрешили спуститься в яму, и, таким образом, с моей латынью дело стало обстоять плохо. Я слышал, как многие люди говорили, что для пения в хоре не требуется латынь и что даже обез знания этого языка можно стать великим актером. Я считал, что в этом есть здравый смысл, и очень часто, по поводу или без повода, уходил с вечернего урока латыни. Гульдберг узнал об этом, и я впервые получил выговор, который чуть не пригвоздил меня к земле. Я думаю, что ни один преступник не мог бы страдать сильнее, услышав, как ему выносят смертный приговор. Должно быть, мое душевное смятение отразилось на моём лице, потому что он сказал:

«Не разыгрывай больше комедию со мной».

Но для меня это была не комедия. Мне больше не нужно было учить латынь. Я чувствовал свою зависимость от доброты других людей в такой степени, какой никогда раньше не ощущал. Иногда, когда я заглядывал в будущее, у меня возникали мрачные и серьёзные мысли, потому что мне не хватало самого необходимого в жизни; в другое время я был совершенно бездумен, как ребёнок.

Вдова знаменитого датского государственного деятеля Кристиана Кольбьернсена и её дочь были первыми высокопоставленными дамами, которые сердечно подружились с бедным парнем; они с сочувствием слушали меня и мы часто виделись. Миссис фон Кольбьернсен летом жила в Баккехусе, где также жил поэт Рахбек и его интересная жена. Рахбек никогда не разговаривал со мной, но его живая и добросердечная жена часто развлекалась со мной разговорами. В то время я снова начал писать трагедию, которую прочитал ей вслух. Сразу же, как только она услышала первые сцены, она воскликнула:

«Но вы же на самом деле взяли целые отрывки из «Элен и Ингемана».

«Да, но они такие красивые!» — простодушно ответила я и продолжил читать. Однажды, когда я шёл от неё к миссис фон Кольбьернсен, она дала мне охапку роз и сказала:

«Не отнесете ли вы их ей? Ей, несомненно, доставит удовольствие получить их из рук поэта».

Эти слова были сказаны наполовину в шутку, но это был первый раз, когда кто-то связал моё имя с профессией поэта. Это пронзило меня насквозь, как стрела, пронзило тело и душу, и слёзы наполнили мои глаза.

Я знаю, что именно с этого самого момента мой разум пробудился к писательству и поэзии. Раньше это было просто развлечением в качестве разнообразия в моем кукольном театре. В Баккехусе жил также профессор Тиле, в то время молодой студент, но уже тогда редактор «Датских Народных Легенд», известный широкой публике как разгадчик загадки Багтесена и автор прекрасных стихов. Он был наделён чувством, истинным вдохновением и добрым сердцем. Он спокойно и внимательно наблюдал за развитием моих мыслей, пока мы не стали друзьями. Он был одним из немногих, кто в то время говорил обо мне правду, в то время как другие люди веселились за мой счёт и обращали внимание только на то, что было во мне смешного. Люди в шутку называли меня маленьким оратором, и в этом качестве я был объектом любопытства. Они находили во мне забаву, а я принимал каждую расхожую улыбку за аплодисменты. Один из моих более поздних друзей сказал мне, что, вероятно, примерно в это время он увидел меня впервые. Это было в гостинице богатого торговца, где люди очень веселились и потешались надо мной. Они попросили меня повторить одно из моих стихотворений, и, поскольку я сделал это с большим чувством, пафос подействовал и веселье сменилось сочувствием ко мне.

Каждый день я слышал, как было бы здорово, если бы я мог начать учиться. Люди советовали мне посвятить себя науке, но никто не сделал ни шагу, чтобы помочь мне это сделать; мне стоило большого труда сохранить тело и душу вместе. Поэтому мне пришлось в голову написать трагедию, которую я намерен был предложить Королевскому театру, а затем получил бы возможность учиться на вырученные таким образом деньги. Пока Гульдберг обучал меня датскому, я написал трагедию по немецкой новелле «Часовня в лесу»; однако, поскольку это было сделано просто как упражнение в языке, и поскольку он самым решительным образом запретил мне произносить это вслух, я не стал этого делать. Поэтому я придумал свой собственный материал и за четырнадцать дней написал свою национальную трагедию под названием «Разбойники в Виссенберге» (название маленькой деревушки в Фюн). В ней едва ли было правильно написано хоть одно слово, так как у меня не было человека, который мог бы мне помочь, поэтому что я хотел, чтобы оно было анонимным; тем не менее, был один человек, посвященный в эту тайну, а именно молодая леди, с которой я познакомился в Оденсе во время моей подготовки к конфирмации, единственная, кто в то время проявлял ко мне доброту и благоволил ко мне. Именно благодаря ей я познакомился с семьей Кольбьернсен и, таким образом, стал известен и принят во всех тех кругах, из которых один ход ведёт в другой. Она заплатила кому-то за подготовку разборчивого текста моего произведения и обязалась предоставить его для ознакомления. По прошествии шести недель я получил его обратно вместе с письмом, в котором говорилось, что люди нечасто желают сохранять работы, которые в такой степени выдают недостаток элементарных знаний.

Как раз в конце театрального сезона, в мае 1823 года, я получил письмо от директоров, в котором меня увольняли из школы пения и танцев, причем в письме также говорилось, что мое участие в преподавании в школе не принесет мне никакой пользы, но что они хотели, чтобы кто-нибудь из моих многочисленных друзей помог мне получить образование, без которого талант ничего не даёт. Я снова почувствовал себя, так сказать, медузой выброшенной в широкий мир без помощи и без поддержки.

Мне было абсолютно необходимо написать пьесу для театра, и это должно быть принято; для меня не было другого спасения. Поэтому я написал трагедию, основанную на историческом отрывке, и назвал ее «Альфсол». Я был в восторге от первого акта и немедленно отправился с этим к датскому переводчику Шекспира, адмиралу Вульффу, ныне покойному, который добродушно выслушал моё чтение. В последующие годы я встречал самый радушный приём в его семье. В то время я также познакомился с нашим знаменитым врачом Эрстедом, и его дом

по сей день остается для меня любимым домом, к которому прочно привязалось моё сердце и где я нахожу своих самых старых и неизменных друзей.

В то время был жив и мой любимый проповедник, сельский настоятель Гутфельдт, и именно он приложил больше всего усилий для продвижению моей трагедии, которая к тому времени была закончена; написав рекомендательное письмо, он отправил его директорам театра.

Я колебался между надеждой и страхом. В течение лета я испытывал острую нужду, но никому об этом не рассказывал, иначе многие из тех, чье сочувствие я испытывал, помогли бы мне, насколько это было в их силах. Ложный стыд помешал мне признаться в том, что я пережил. И всё же счастье переполняло мое сердце. Тогда я впервые прочёл произведения Вальтера Скотта. Передо мной открылся новый мир: я забыл о реальности и отдавал в платную библиотеку то, что должно было обеспечить меня обедом. Нынешний член конференц — совета Коллин, один из самых выдающихся людей Дании, обладающий величайшими способностями и самым благородным сердцем, на которого я во всем полагался с доверием, который был мне вторым отцом и в чьих детях я обрел братьев и сестёр; -этого замечательного человека я увидел тогда впервые.

В то время он был директором Королевского театра, и все люди говорили мне, что для меня было бы лучше, если бы он проявил интерес ко мне: либо Эрстед, либо Гутфельдт первыми упомянули обо мне в разговоре с ним; и вот теперь я впервые попал в этот дом, который должен был стать мне таким дорогим местом. До того, как Копенгагенские крепостные стены были расширены, этот дом находился за воротами и служил летней резиденцией испанского посла; однако сейчас он стоит — покосившееся, угловатое каркасное здание — на респектабельной улице; к входу его ведёт старомодный деревянный балкон, а к огромное дерево раскинуло свои зелёные ветви над двором и его остроконечными фронтонами. Он должен был стать для меня отеческим домом. Кто по своей воле не задержится на описании этого дома? В Коллине я обрёл только делового человека; его беседа была серьёзной и немногословной.

Я ушёл, не ожидая никакого сочувствия от этого человека; и всё же именно Коллин со всей искренностью заботился о моем благе и молча добивался его, как он делал это для многих других, на протяжении всей своей активной жизни. Но в то время я не понимал того кажущегося спокойствия, с которым он слушал, в то время как его сердце обливало кровью за страждущих, и он всегда трудился для них с усердием и успехом и знал, как им помочь. Он так поверхностно коснулся моей трагедии, которую ему прислали и из-за которой многие люди осыпали меня лестными речами, что я воспринял его скорее как врага, чем защитника.

Через несколько дней за мной послали директора театра, и Рабек вернул мне мою пьесу как непригодную для сцены, добавив, однако, что в ней было разбросано так много сладких кукурузных зёрен, что можно было надеяться, что, возможно, при серьёзном изучении, после посещения школы. а имея предварительные знания обо всём, что требуется, я, возможно, когда-нибудь смогу написать произведение, достойное постановки на датской сцене. Поэтому, чтобы получить средства для моего содержания и необходимого обучения, Коллин порекомендовал меня королю Фридриху Шестому, который ежегодно выделял мне определенную сумму в течение нескольких лет; и, кроме того, благодаря Коллину, директора средних школ разрешили мне получать бесплатное образование в начальной школе в Слагельсе, где как раз тогда был назначен новый и, как было сказано, активный ректор.

Я почти онемел от изумления: никогда не думал, что моя жизнь примет такое направление, хотя и не имел правильного представления о пути, по которому мне теперь предстояло идти. С первой же почтой я должен был отправиться в Слагельсе, который находился в двенадцати датских милях от Копенгагена, туда, где также учились поэты Багтесен и Ингеманн. Я должен был ежеквартально получать деньги от Коллина; я должен был обращаться к нему во всех случаях, и именно он должен был следить за моим трудолюбием и моими успехами.

Я пришёл к нему во второй раз, чтобы выразить ему свою благодарность. Мягко и доброжелательно он сказал мне:

«Пиши мне без утайки обо всем, что тебе нужно, и рассказывай, как у тебя дела».

С этого часа я пустил корни в его сердце; ни один отец не мог бы быть для меня большим, чем он был и есть; никто не мог бы относиться ко мне с большей сердечностью, радоваться своему счастью и последующему приёму у публики; никто так доброжелательно не разделял моего горя; и я с гордостью могу сказать, что один из самых замечательных людей Дании относится ко мне, как к собственному сыну. Его благодеяние было оказано без того, чтобы он причинил мне боль ни словом, ни взглядом. Так было не со всеми, кому я должен был выразить свою благодарность за эту перемену в моей судьбе; мне говорили, что я должен думать о своём невообразимом счастье и своей бедности; в словах Коллина была выражена сердечность отца, и для него это было то, что я должен был сделать и я был в долгу за всё.

Решение о поездке было принято в спешке, а мне ещё предстояло уладить кое-какие дела. Я поговорил с одной знакомой из Оденсе, которая управляла небольшим типографским предприятием для вдовы, с просьбой напечатать «Альфсаль», чтобы я мог немного подзаработать на продаже этой работы. Однако, прежде чем эта статья была напечатана, мне необходимо было заручиться определённым числом подписчиков; но таковых не нашлось, и рукопись лежала в типографии, которая, когда я отправился за ней, была закрыта.

Однако несколько лет спустя она внезапно появилась в печати без моего ведома или желания, в неизменном виде, но без моего имени.

Прекрасным осенним днём я отправился с почтой из Копенгагена, чтобы начать свою школьную жизнь в Слагельсе. Молодой студент, который месяц назад сдал свой первый экзамен и теперь ехал домой в Ютландию, чтобы проявить себя там в качестве студента и ещё раз увидеть своих родителей и друзей, сидел рядом со мной и ликовал от радости по поводу новой жизни, которая теперь открывалась перед ним; он заверил мне казалось, что он был бы самым несчастным из людей, если бы был на моем месте и снова начал ходить в начальную школу. Но я с легким сердцем направился в маленький городок Зеландия. Моя мать получила от меня радостное письмо. Я только пожалел, что мой отец и старая бабушка, которые были ещё живы, не могут узнать, что я теперь хожу в гимназию.

ГЛАВА III

Когда поздно вечером я прибыл на постоянный двор в Слагельсе, я спросил хозяйку, есть ли в городе что-нибудь примечательное.

«Да, — сказала она, — новая английская пожарная машина и библиотека пастора Бастхольма», — и это, вероятно, были все чудеса города. Несколько офицеров уланского полка составляли сливки утончённого джентльменства. Все знали, что делается в доме соседа, все имели четыре глаза, все приглядывали. был ли ученик повышен или понижен в должности в своём классе и тому подобное. Частный театр, в который на генеральных репетициях ученики гимназии и городские служанки имели свободный вход, предоставлял основной материал для разговоров. Это место было далеко от лесов и еще дальше от побережья; но через город проходила большая почтовая дорога, и из проезжающей кареты всё время неслись звуки почтового рожка.

Я остановилась у почтенной вдовы из образованного сословия, и у меня была маленькая комнатка с видом на сад и поле. Моё место в школе было в самом низшем классе, среди самых маленьких мальчиков: я действительно совсем ничего не знал. На самом деле я был подобен дикой хохлатой птице, запёртой в клетке; у меня было огромное желание учиться, но я барахтался, как будто меня бросили в море; одна волна сменяла другую; грамматика, география, математика — я чувствовал, что они подавляют меня, и боялся, что никогда не смогу постигнуть все это. Настоятель, которому доставляло особое удовольствие всё высмеивать, в моем случае, конечно, не сделал исключения.

В то время он казался мне божеством; я безоговорочно верил каждому его слову. Однажды, когда я неправильно ответил на его вопрос, и он сказал, что я глуп, я упомянул об этом Коллину и рассказал ему о своём беспокойстве, подчёркивая, что я не заслуживаю всего, что эти люди сделали для меня; но он утешил меня. Однако время от времени по некоторым предметам я начинал получать хорошие оценки, и учителя становились искренне добры ко мне; и всё же, несмотря на то, что я продвигался вперед, я все больше и больше терял уверенность в себе. Однако на одном из первых экзаменов я удостоился похвалы ректора. Он написал то же самое в моей анкете; и, довольный этим, я через несколько дней отправился в Копенгаген. Гульдберг, который видел, каких успехов я достиг, любезно принял меня и похвалил моё усердие, а его брат в Оденсе предоставил мне возможность следующим летом посетить место моего рождения, где я не был с тех пор, как покинул его в поисках приключений.

Я пересёк Бельт и пешком направился в Оденс. Когда я подошёл достаточно близко, чтобы увидеть высокую башню старой церкви, моё сердце растрогалось ещё больше; я глубоко ощутил Божью заботу обо мне и разрыдался. Моя мать радовалась за меня. Семьи Иверсенов и Гульдбергов приняли меня радушно, и на маленьких улочках я видел, как люди открывали окна, чтобы посмотреть мне вслед, потому что все знали, как замечательно у меня складывались дела; более того, мне казалось, что я действительно стою на вершине счастья, когда один из видных горожан, который построил высокую башню рядом со своим домом, повёл меня туда, и я посмотрел оттуда на город и окрестности, а несколько старушек в больнице внизу, которые знали меня с детства, указали мне путь наверх.

Однако, как только я вернулся в Слагельсе, этот ореол славы померк, как и все мысли о нём. Я могу откровенно признаться, что был трудолюбив и поднялся, как только это стало возможным, в более высокий класс; но по мере того, как я поднимался, я чувствовал, что давление на меня становится всё сильнее, и что мои усилия пробуксовывали и были недостаточно продуктивны. Часто по вечерам, когда меня одолевал сон, я мыл голову холодной водой или бегал по маленькому уединённому саду, пока снова не просыпался и не мог по-новому осмыслить книгу. Ректор заполнял часть своих часов преподавания шутками, прозвищами и не самыми

удачными остротами. Я был словно парализован тревогой, когда он входил в комнату, и по этой причине мои ответы часто выражали противоположное тому, что я хотел сказать, и тем самым моя тревога ещё больше усиливалась.

Что же со мной должно было случиться? В минуту дурного настроения я написал письмо директору школы, который был одним из тех, кто был настроен против меня самым решительным образом. В этом письме я писал, что считаю себя человеком, столь мало одарённым от природы, что у меня нет возможности учиться и что люди в Копенгагене выбрасывают на ветер деньги, которые они на меня тратят; поэтому я просил его посоветовать мне, что мне делать. Этот замечательный человек ободрил меня мягкими словами и написал мне самое дружеское и утешительное письмо; он сказал, что ректор имел обо мне доброе мнение, и что я добиваюсь всех успехов, которых люди могут от меня ожидать, и что мне не нужно сомневаться в своих способностях. Он рассказал мне, что сам был молодым крестьянином двадцати трёх лет, и был старше, чем я сам, когда начал учиться; несчастье для меня заключалось в том, что ко мне следовало относиться иначе, чем к другим ученикам, но вряд ли это было возможно в общеобразовательной школе; но все это было не так — я прогрессировал, и у меня были хорошие отношения как с учителями, так и с моими сокурсниками.

Каждое воскресенье мы должны были посещать церковь и слушать старого проповедника; другие ученики усваивали свои уроки истории и математики, пока он проповедовал; я постигал своё место в религии и думал, что, поступая так, я становлюсь менее греховным. Генеральные репетиции в частном театре стали лучиками света в моей школьной жизни; они проходили в задней части здания, откуда доносилось мычание коров; уличное оформление представляло собой изображение городской рыночной площади, а это значит, что в представлении было что-то знакомое; жителям было забавно видеть свои собственные дома.

По воскресеньям после обеда я с удовольствием посещал замок Антверсков, в то время полуразрушенный, а когда-то бывший монастырём, где я занимался раскопками разрушенных подвалов, как если бы это были Помпеи. Я также часто ходил к распятию Святого Андерса, которое стоит на одной из вершин Слагельсе и является одним из деревянных крестов, установленных во времена установления католицизма в Дании.

Святой Андерс был священником в Слагельсе и путешествовал по Святой Земле; в последний день он так долго молился на святой могиле, что корабль отплыл без него. Раздосадованный этим обстоятельством, он пошёл вдоль берега, где встретил человека, ехавшего верхом на осле, и взял его с собой. Он сразу же заснул, а когда проснулся, то услышал звон колоколов Слагельсе. Он лежал на холме покоя (Хвиле), где сейчас стоит крест. Он был дома за год и один день до возвращения корабля, который отплыл без него, и ангел доставил его домой. Эта легенда и место, где он проснулся, были моими любимыми. С этого места я мог видеть океан и Фюн. Здесь я мог предаваться своим фантазиям; когда я был дома, чувство долга приковывало мои мысли только к книгам. Однако самым счастливым временем было то, когда однажды в воскресенье, когда лес был зелёным, я отправился в город Сорен, расположенный в двух милях от Слагельсе и расположенный посреди лесов, в окружении озёр. Здесь находится дворянская академия, основанная поэтом Хольбергом. Все было погружено в монастырскую тишину. Я навестил здесь поэта Ингеманна, который только что женился и работал учителем; он уже хорошо принимал меня в Копенгагене, но здесь его приём был ещё более тёплым. Его жизнь в этом месте показалась мне прекрасной историей; цветы и виноградные лозы обвивали его окна; комнаты были украшены портретами выдающихся поэтов и другими картинами.

Мы плавали по озеру с золотой арфой, прикрепленной к мачте. Ингеман говорил так весело, а его прекрасная, дружелюбная жена относилась ко мне как к старшему брату и я любил этих людей. С годами наша дружба только окрепла.

С тех пор я почти каждое лето бываю там желанным гостем и на собственном опыте убедился, что есть люди, в обществе которых человек становится как бы лучше; всё горькое проходит, и весь мир предстает в солнечном свете.

Среди учеников благородной академии было двое, которые писали стихи; они знали, что я делаю то же самое, и на это почве сильно привязались ко мне. Одним из них был Пети, который впоследствии, несомненно, с наилучшими намерениями, но не совсем добросовестно, перевёл несколько моих книг; другим был поэт Карл Баггер, один из самых одарённых людей, которые выдвинулись в датской литературе, но которого несправедливо осудили. Его стихи полны свежести и оригинальности; его рассказ «Жизнь моего брата» — гениальная книга, критика которой в датском ежемесячном литературном обозрении доказала, что она не в состоянии выносить правдивые суждения.

Эти два академика сильно отличались от меня: жизнь радостно текла по их венам; я же был чувствительным и похож на ребёнка. В своей характеристике я всегда отмечал, что мое поведение оценивается как «на редкость хорошее». Однако в одном случае я получил только оценку «очень хорошо», и я был так встревожен и по-детски наивен, что написал письмо Коллину по этому поводу и со всей серьёзностью заверил его, что я совершенно невиновен, хотя и получил всего лишь оценку «очень хорошо».

Ректору надоело жить в Слагельзе; он подал заявление на вакантную должность ректора в гимназии Хельсингфорса и получил её. Он рассказал мне об этом и любезно добавил, что я могу написать Коллину и попросить разрешения поехать с ним; что я могу жить в его доме и даже сейчас могу переехать к его семье; через полгода я стану студентом, чего не могло бы случиться, если бы я остался дома, и что тогда он сам даст мне несколько частных уроков латыни и греческого. По этому же поводу он написал и Коллину; и это письмо, которое я впоследствии увидел, содержало величайшую похвалу моему трудолюбию, достигнутым успехам и моим хорошим способностям, которые, как мне казалось, он совершенно неверно истолковал и из-за отсутствия которых я сам так часто плакал. Я и понятия не имел, что он так благосклонно относится ко мне; знай я об этом, это придало бы мне сил и успокоило бы меня, тогда как, напротив, его постоянные упрёки угнетали меня.

Я, конечно, немедленно получил разрешение Коллина и переехал в дом священника. Но, увы! Это был несчастный дом. Я сопровождал его в Хельсингфорс, одно из красивейших мест в Дании, недалеко от пролива Саунд, ширина которого в этом месте не превышает мили и который кажется голубой, бурлящей рекой, протекающей между Данией и Швецией. Ежедневно мимо проплывают сотни кораблей всех стран; зимой лёд образует прочный мост между двумя странами, а когда весной он распадается, то напоминает плавающий ледник. Здешние пейзажи произвели на меня сильное впечатление, но я осмеливался лишь украдкой поглядывать на них. Когда занятия в школе заканчивались, дверь дома обычно запиралась; Я был вынужден сидеть в отапливаемой классной комнате и учить латынь, или играть с детьми, или сидеть в своей маленькой комнате; я никогда ни к кому не ходил в гости. В моей памяти, жизнь в этой семье вызывает самые дурные сны. Я был почти подавлен, и каждый вечер молился Богу, чтобы он убрал от меня эту чашу и позволил мне умереть. У меня не было ни капли уверенности в себе. Я никогда не упоминал в своих письмах, как тяжело мне приходилось, потому что ректор находил удовольствие в том, чтобы подшучивать надо мной и высмеивать мои чувства. Я никогда ни на кого не жаловался, за исключением самого себя. Я знал, что в Копенгагене скажут:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.